

Алексей РЕМИЗОВ

ИВЕРЕНЬ

Загогулины моей памяти

Главы из книги

Курьер

В тот год (1902) три новых имени в русской литературе и все три под псевдонимом: А. Луначарский, по своей жене Анатолий Анютин, в *Русской Мысли* стихи под Демеля, но без «декадентства»; Б. В. Савинков по своей дочери Тане, называвшей себя Кая, Борис Канин, в *Курьере* рассказ из варшавской жизни; и мое в *Курьере* «Эпиталама» (Плач девушки перед замужеством), за таинственной подписью Николай Молдаванов.

Луначарскому и Савинкову по старым «подпольным» традициям считался необходимым псевдоним, ведь и А. А. Малиновский подписывался А. А. Богданов в честь своей жены Анны Богдановны, но мне незачем было, и до встречи с Савинковым и Щеголевым и, пожалуй «для безобразия», объявился бы Желвунцовым, но теперь, под надзором Савинкова и Щеголева, я был в полной их воле.

Щеголев, как и Желвунцов, посещал вологодскую купальню. И, как Желвунцов, ляжет на спину и лежит, как поплавков, и только грудь почесывает. Дотошные купальщики искали у него перепонки, да какие еще ему перепонки, дело проще: своим еркуловым весом он вытеснял всю воду, оставалось только что руку окунешь, и тонуть некуда.

Лежа поплавок, Щеголев любил вспоминать Воронеж, и рассказал к слову о воронежском босяке, этот босяк по своим безобразиям превосшел все, что только вообразить себе можно, был он вроде юридического, обличал, заступался, но пьяница и негодяй последний. И так он всем надоел

и опостылел, одно было спасение, пьяный замерзнет и дело было с концом. А он и пьяный замерзать не собирался. А звали его Молдаванов.

Я и подумал: «чего лучше псевдонимом: буду я Молдаванов». Щеголев одобрил. Так я и подписался: Николай Молдаванов.

Не знаю, как было у Луначарского: псевдоним Анютин в *Русской Мысли* хорошо известен — под такой, фамилией М. Анютин, один из соредкторов, Митрофан Нилович Ремезов (1835—1901) печатал свои романы. А про себя скажу, я попал в литературу по недоразумению.

В Вологду по «конспиративным» делам приехала Лидия Осиповна Цедербаум (Дан), сестра Юлия Осиповича Мартова. Я познакомился с ней у Савинкова. Она и была проводником меня и Савинкова в литературное святилище. Такое должно было совершиться, никогда не думая, что из меня выйдет писатель, я, все-таки, непрерывно писал и добивался точных выражений со своего глаза и мне хотелось писать. Из Вологды она поедет к Горькому в Арзамас: Савинков дал ей свой варшавский, очень похожий на Тетмайера, и сатирическое: «о черте» под Горького, и мою «декадентскую» Эпиталаму и мой рассказ «Бибка», кое-что Савинков исправил — «шероховатости» моего слога, о чем я узнаю потом. Впрочем, мне было все равно, если бы и сказал, довольным я никогда не буду и никогда о своем не говорю себе: «хорошо».

Савинков не сомневался в успехе. Под орган грозил не Мефистофель, а расцветал Фауст. «Где и когда появятся наши рассказы?» Только об этом и говорилось. Пани

и паненки вздохнули, такой мир проникал в их сердце, и старого ксендза больше не отличить от виленского молодого — никому в голову не приходило, что делается под костелом. В костеле совершилось подлинное чудо, о котором возносилось столько громких и тихих сердечных молитв — огорюневшие души, ваше воскресение придет не оттуда, а от нас — от нашей веры в победу.

В журналах тщательно просматривалось оглавление беллетристики: не напечатано ли. Говорили и о следующих посылках через Лидию Осиповну. Савинков написал новый рассказ из варшавской жизни, а из моего Щеголева выбрал мой тюремный свиток «В плену».

И наконец-то из Арзамаса письмо: отзыв Горького. Письмо было на имя Савинкова — Лидия Осиповна оставила Горькому только его адрес, я не в счет — «декадент».

Письмо без обращения, но, как видно из содержания, нам обоим, Горький советовал нам заняться каким угодно ремеслом, только не литературой: «Литераторство, — писал Горький, — дело трудное и ответственное, и не всякому по плечу». Были слова, относящиеся к одному Савинкову: «а ваш чертик неуменный».

— А его черт умел? — сказал Савинков, вспомнив горьковское «Еще о черте».

И весь день Савинков смотрел устужской тучей — вот хлынет каменный дождь и засыпет костел, собор, — Вологду, Ярославль, Нижний и Арзамас с Горьким.

Помню вечер, зашел к Савинковым старый ксендз: не случилось ли какой беды? Грозное затишье, клубясь, висело над костелом, и в старом органе потрескивали искры.

Горький уже написал *Фому Гордеева* — отзыв *Лесов Мельникова-Печерского* — одно из первых моих чтений, очаровавшее меня, и потому горьковское «заняться только не литературным ремеслом» выразилось у меня смущенным чувством: «чего я полез?» Но не сбило: я продолжал мой *Пруд* — мое первое большое, мой лирический роман. И вышло наоборот: Горький меня не осадил, а подхлестнул — легкое никогда меня не прельщало, я и задачи любил головоломные.

Не унимался Щеголев. «Эпиталаму» он отложил — «не всякому по плечу», и «заставил» меня — ничего не поделаешь, я ни минуты не забывал, что в Вологде я под надзором Щеголева и Савинкова, и я переписал «Бибку». И теперь, без поправок Савинкова, мою рукопись Щеголев послал в Полтаву для передачи В. Г. Короленко.

Ждать не пришлось: получился ответ мне, но Щеголев вскрыл письмо — «корреспонденция поднадзорных просматривается». С письмом была и моя рукопись.

Ласково писал Короленко: ему неясно: записать ли это слов мальчика или выдуманное и никакой психологии.*

Отзыв Чехова на словах Мейерхольду: Мейерхольд, шадя меня, путался, повторяя «надо работать», но я-то за всеми словами чувствовал, что Антону Павловичу мое «декадентское» очень не понравилось. Горьковские руки ясно и определенно. И Короленко — вернул рукопись.

Я о своем больше не заговаривал. А спрашивать у Савинкова, обожаясь. Так, казалось, под костелом и кончилось наше литераторство. А между тем Луначарский показал мне августовскую книжку *Русской Мысли* с Анатолием Аютиным, Савинкову я ни полслова из «конспирации». Пожалуй, так я и конспирации научусь, и из меня выйдет «подпольщик-революционер».

И вдруг неожиданно: с вечерним поездом из Ярославля Иван Платонович Каляев: в редакции *Северного Края* получен из Москвы *Курьер* — 8 сентября 1902 года и в этом праздничном номере (Рождество Богородицы) —

— Смотрите! — Каляев торжествовал. Он широко развернул газету, и в глаза ударило — электричеством: «Эпиталама» (Плач девушки перед замужеством) Николай Молдаванов, а ниже рассказ Канина «Терновая глушь».

Каляев боготворил Савинкова.

Рассказу Савинкова «Терновая глушь» был посвящен вечер. Я ушел к себе на Желвунцовскую очень поздно. Каляев остался ночевать у Савинкова.

На другой день вечером слышу, кто-то стучит. В мою купальню редко кто заглянет, и вот не ждал:

— Иван Платоныч!

В его руках я заметил белые астры: он спешит на вокзал. А цветы мне: он привез их вчера из Ярославля, но вчера — «не имел часа». Я понял, не хочет обидеть Савинкова.

— «Эпиталаме!» — сказал Каляев, подавая цветы.

И какой — не наш, а его материнский свет осветил эти белые осенние астры — они цветут, сияющие болью в моих пустых глазах.

* Мой рукописный архив — до 2000 документов (1902—1921) я перед отъездом за границу передал в Публичную библиотеку. Письма Горького были напечатаны, но, к сожалению, без моих примечаний.

* * *

Написали в *Курьер*: двадцать пять экземпляров и гонорар. Савинков раскрыл свой псевдоним: «Канин» — это он, Борис Викторович, на его имя в Вологду пускай и деньги пришлют — «а мы разделим». Щеголев советовал упомянуть о авансе — «под дальнейшие работы». Но Савинков не послушал.

— А я всегда требую, — обиделся Щеголев, он печатал театральные рецензии у А. Р. Кугеля в *Театре и Искусстве* под псевдонимом Павлов, — и разве это важно, напечатано или не напечатано, аванс скрепляет отношения. Много ль тут получите за рассказ-то, на бутылку не хватит.

«Нет, это очень важно, напечатают или не напечатают. И никаким авансом не покроешь ненапечатанное». Так я тогда подумал, да и теперь так думаю. Особенно, когда слышу: «деньги получили, чего ж вам еще?»

Отрава печататься входит с первым напечатанным. А какие мечты и сколько самообольщения. Ведь только у новичка такая вера в свое. А со временем придет разочарование, и сколько ни фырчи и фордыбачь, а все ясно и при всякой дружеской критике, что ты не Пушкин, не Толстой, не Достоевский, а только козявка.

Одной из таких козявок — аз есмь.

В Москву

Сделавшись писателем, я, с «разрешения» Щеголева и Савинкова, задумал проехать в Москву на литературные разведки. Увижу двух демонов: Леонида Андреева и Валерия Брюсова. Л. Андреев заведывал литературным отделом в *Курьере*, он и пропустил мою «Эпиталяму» и варшавский рассказ Савинкова. А Брюсов — декадентское издательство «Скорпион», сборники *Северные Цветы* — как раз по мне и «скорпион», и «цветы».

Савинков сочинил прошение министру внутренних дел о разрешении мне в Москву для свидания с матерью. И отнес к губернатору. У губернатор Князев, из уважения к Савинкову (не к Б. В., а к Виктору Михайловичу), со своим благосклонным отзывом, переслал министру. Ждали мы два месяца и дождался: пришел ответ из Департамента полиции — мне разрешалось на две недели в Москву.

Но за два-то месяца много чего переменялось.

Князев уехал в отпуск, а его заменил вице-губернатор граф Муравьев. И сразу обнаружил муравьевскую породу: он издал распоряжение не пускать ссыльных в об-

щественные собрания. Но это мало кого тронуло: кто ж из нас по клубам-то ходит. А нашумел он другим суровым распоряжением о высылке Серафимы Павловны Довгелло из Вологды в Сольвычегодск.

Конец сентября, пароходы прекратились, и единственный путь в Сольвычегодск на лошадях — дороги невылазные и бывало, еще подумай. От Вологды до Сольвычегодска — 500 верст. Но Муравьев требовал, грозя этапным порядком.

С. П. Довгелло губернаторскому распоряжению не подчинилась. Да и как же было в такое время ехать, значит на верную гибель. А кроме того, при свидании обращение графа было очень резко и грубо. Тут и произошел трагический случай: С. П. Довгелло отравилась. Много было беды, да к нашему счастью — я думаю всех ссыльных без исключения — все окончилось благополучно: отходили.

Савинков составил жалобу министру — играл словами на знатности Довгелло и о военных заслугах ее отца.

А когда пришлось мне разрешение ехать в Москву, Муравьев не дал согласия. И опять пришлось Щеголеву и Савинкову идти за меня с объяснениями.

Задача трудная. Муравьев не соглашался выпустить меня из Вологды в Москву, потому что, по полицейским сведениям, я сумасшедший: Кварцев, Татаринов и Ремизов. Сказать, что я выздоровел, значит, «раз здоров, поезжай не в Москву, а в Усть-Сысольск».

Единственное, что в руках у Щеголева и Савинкова, их настойчивость ссылаться на распоряжение министра. Незадолго до этого Муравьеву было, как кажется, не совсем благоприятное отношение министра в ответ на жалобу, С. Довгелло оставлена в Вологде, да еще ей дан для поправления здоровья отпуск на месяц в их черниговское имение Берестовец.

Точно не знаю, что говорил Щеголев и Савинков Муравьеву. Щеголев отличался на любительских спектаклях в роли комических злодеев — намекали ли они на мон, исключительной крепости, пальцы и лучше не трогать, или что-нибудь осторожно про лягушек, «которые розовые лягушки временно не показываются, но если меня задержать в Вологде, лягушки снова заскачут и в большом количестве», — только на утро я получил вызов лично явиться к губернатору.

Муравьев решил меня выпустить из Вологды, но, как потом выяснится, он «и пустить и не пускать», сам ли он это придумал или его научили советники-лисы, не знаю. У губернатора меня долго не за-

держали. Из канцелярии прямо провели в приемную. Зрелище, конечно, незабываемое.

Муравьев был заширмован рослым чиновником, а по бокам стояли два молодца по особому поручению. И мне сразу бросилось в глаза: один с пылесосом, другой с пульверизатором.

Я думал, что губернатор спросит меня о состоянии моих розовых лягушек, но он мутно озирался. А по его морде скакали зеленые и розовые. И, не найдя слов, прыгая губами, он через голову своей ширмы протянул мне разрешение на выезд в Москву. А ведь я был убежден, что меня никто не боится.

СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ

Прощеный день
(Воскресенье на Масленице
в канун Великого Поста)

Петр Карлович Паскаль, профессор Сорбонны, ученый, исследователь русского блистательного XVII века; с Паскалем много о чем вспоминаешь, и к моему «русскому» он со вниманием: я и вправду, может, последний из «огненной Руси». (Так слывет допетровская Русь с речью природных русских ладов).

Нынче, за прощенный день зашел он ко мне на Буало в мой ледяной затвор наведаться: замерз или дышу еще. Он всегда, как на Франсуа-Жерар идти к архимандриту Христофору, и меня не забывает, по дороге ему.

Надо бы мне гостя встретить блинами, да каюсь, масленица прошла, а и сам я ни столечко, то-то постному бесу радость! (есть бесы «постные» и есть «скромные»). По старине, не поесть блинов на масленицу такой же грех, как на посту навалиться на говядину; блин по-русски не только древний образ солнца, воскресения, но и род — кровная связь, что выражается в обязательном посещении родственников и в приеме родных на блины. (Забелин, «Заметки о старинной масленице». *Москвитянин*, 1850, кн. V). Прибавлю и от себя: отказать гостю в блине тоже грешно и не показано.

Я и подумал: дай-ка прочитаю любимое его из XVII века; кстати на столе *Письма царя Алексея Михайловича* (Изд. К. Солдатенкова — П. Бартенева, М. 1856 г.): а потом подсуну и свое — про «Афины»: сойдет за блин — и в соблазн не введу человека и душу его не пограмлю.

...
Царь Алексей Михайлович пишет Никонову случай, когда помер патриарх Иосиф. Среди ночи царь зашел в церковь, куда покойника вынесли, и видит, у гроба ни одного сидельца, и только один поп псалтырь читает, да как! — ровно б Хома Брут над панночкой, «во всю голову кричит»; и все двери настезь. Спрашивает царь попа, «почему не по подобию говоришь». А поп и говорит: «страх взял... часы де в отдачу, вдруг взнесло у него живот, государя, и в утробе шумело больно грыжа, и лицо в ту же пору почало пухнуть, я де чайл, ожил, для того я и двери отворил, хотел бежать». (Сидельцы, значит, давно сбежали!)

«И меня прости, владыко святой, — пишет царь, — от его речей страх такой нашел, едва с ног не свалился; а се и при мне грыжа-то ходит прытко добре в животе, как есть у живого; да мне прииде помышление такое от врага: побегу де ты вон, тотчас де тебя, вскоча, удавит; а нас только я да священник. И я, перекрестясь, взял за руку его, света, и стал целовать, а в уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет, чего бояться?»

Кончил я письмо, вижу по душе Паскалю и говорю:

— А у меня есть про Афины: «Северные Афины».

— Какие же северные, где?

— И с музыкой, говорю, тетрахорды, теорбы и флейты.

Если бы Паскаль был курящий, он закурил бы: так звучало ни с попом; ни с грыжей не слажено: Афины.

— С гимнами Сафо, — продолжал я, — Каллимаха, Пиндара, оды Анакреона, идиллии Феокрита, хоры Сафокла, Еврипида, смех Аристофана. У вас Расин, Корнель, Шенье, вам с первого слуха свое это чудесный мир — этот «Schöne Welt»:

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur!

И проговорив тяжелыми немецкими словами вдохновенную мысль, я Шиллером посмотрел на Паскаля.

— Вы услышите громчайшие имена «титанов»: Луначарский, Карпинский, Равич...

— Я лучше прочитаю строфу из Софокла, — перебил Паскаль.

Но с титанами вы встретите и скромное имя: Николай Александрович Бердяев.

— Бердяев в Афинах... да где же эти Северные Афины?

— Та русская земля, — сказал я, — где

когда-то гремел город Грозного Вологда с Прилуками.

И вижу, поддался.

— А кроме Бердяева и Подстрекозова, — это я себя так по-гречески переименовал: «Подстрекос», — вы найдете кое-что от польской руды для русской речи. Первый у нас Марлинский, вот несколько поэтических строк из «Фрегата Надежды» (1831 г.), — читаю для оттенку:

«Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших. Солнце не бледнеет от злодейств земных: звезды не краснеют кровью, реками текучей по земле. Нет, они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, быть может, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке, по-прежнему распускаются ночные цветы неба — звезды, по-прежнему сверкают нам огнем любви и текут в океан благодати!»

Это цвет, а сейчас будут ягоды из той же руды, из польского документа в «Северных Афинах» (1901 г.) — польское по-русски:

«Хотя мой муж не так умный, как кому нравится, но все-таки не подлец, чтобы по нем, как по свинье, ехать».

Предбанная память

Моя память — «предбанная», потому что из предбанника вся эта «история с географией». Ходили мы в Вологде в баню, зайдем номер: Павел Елисеич Щеголев, Борис Викторович Савинков и я. И как, бывало, тру спину Павлу Елисеевичу, а он песни поет — голос у него в паре особенно, с наливом и так звонко, все соседи, бывало, всполошатся, и главный банщик их унимает; Борис Викторович молча, аккуратный, ни кипятком не обдаст, ни холодной плеснет; а я все на скорую, без очков сослепу мне и шайки не найти, а как выйду в предбанник одеваться, тут вот у меня и разыгрывается — и я сочиняю всякие «истории с географией».

Олимп и Парнас

Нигде во всем мире нет такого неба, как в Вологде, и где вы найдете такие краски, как реки красятся — только вологодские. Полунощное солнце в белые ночи — вы глядите! голубая и алая плывет Вологда — Вологда, Лея, Сухона, Луза, Юг, Вычегда, Нисола. А зимой при северном сиянии — небо пополам! и над белой (на сажень лед), скованной рекой льется багровое, как июньская полночь, а зеленое са-

мой суздальской муравы, а уж такое красное — осенняя лесная ягода. А когда на сутки верст дремучий берег заглядитесь дикой розой, смотришь, и не знаешь, точно из гриммовской волшебной сказки «Спящая царевна». А эти розовые пески между Устюгом и Сольвычегодском и эти белые алебастровые горы по Северной Двине к Архангельску? Или осенью, когда цветут сырые кустатые мхи и яркими персидскими цветами — да что! — надо все это видеть и чувствовать, а никаким словом не скажешь.

За неповторяемость и единственность красок «времен года» — какая громчайшая весна и сорокоградусная лютя зимой! — Вологда подлинно Афины — «Северные Афины». А в начале этого века (невероятно, ведь так недавно, а как тысячи лет!) таким именем «Афины» звалась ссыльная Вологда, и слава о ней гремела во всех уголках России, где хоть какая была и самая незаметная революционная организация, а где ее не было!

Тарабарщина

Я попал в Вологду при исключительных обстоятельствах. Место, мне назначенное — Усть-Сысольск, я год и прожил в Усть-Сысольске, а потом получил разрешение приехать в Вологду для освидетельствования у доктора специалиста по глазам. Приехал я в Вологду — пять суток плыл на Хаминовском Ангарце! — и сразу попал в Парнас. (Выступил я в литературе позже, в один год с Савинковым и Луначарским в московском *Курьере* у Леонида Андреева и в *Северных Цветах* у Брюсова.)

В *Курьере* меня напечатали дважды и два месяца мою «тарабарщину» печатали в Ярославле в *Северном Крае*. Редактор Фальк, которому передавала мои рукописи Ариадна Владимировна Тыркова, посылал в типографию «не ради Ремизова, а ради Вас!» А. В. Тыркова уехала из Ярославля и мое участие в *Северном Крае* прекратилось, потому что никакого «ради» не оказалось на мою тарабарщину.

Если Луначарского подковыривали будто он всю бумагу извел у Поди Тарутина — такое недержание писать! — меня корили в другом:

Павел Лукич Тучапский. У Ремизова есть все: и язык, и форма, не достает только... (запнулся).

Петр Ильич Белоусов (вспохват). Смысла.

Павел Лукич Тучапский. Совершенно верно, конечно, смысла!

И все-таки эта моя отличительная способность не помешала мне заскочить в самое гнездилище Парнаса, где сидели Бердяев и Луначарский, а распоряжался Щеголев. Между прочим, вологжане из почтения называли его не иначе, как «академик Щеголев», некоторые же, как С. Л. Сегаль, хозяин часового магазина, гармонист и неистощимый остролов, прибавляли для еще лучшего веса «почетный», а Константин Лукич, обер из Золотого Якоря, еще и «потомственный», что звучало совсем полесковски: «высоко-обер-преподобие».

Стащить меня с Парнаса и отправить назад в Усть-Сысольск грозили всякую минуту: разрешение было выдано на два месяца, а эти два месяца давным-давно прошли. Про это знал и полицмейстер Слезкин и прокурор Слетов и жандармский поручик Булахов. Только один губернатор мог переменить решение. А для этого требовались уважительные причины.

Пустить меня одного самостоятельно с губернатором объясняться, значит, все дело испортить — никогда в моей жизни не умел я разговаривать с высокопоставленными лицами, даже так скажу, с «князьями обезьяньими» мне не по себе: теряюсь или такое понесу, не дай Бог; да что я, в самом деле, скажу губернатору, какую такую причину: я и у доктора-специалиста не был, и никакого свидетельства у меня нет...

Причина? — А какая всегда была. И нечего было далеко ходить и копать. Про это все знали.

— Изумление ума! — сказал Павел Елисеевич.

— Изумление? прекрасно, — согласился Савинков, — но для этого надо докторское свидетельство и не от А. А. Богданова, а от главного доктора в Кувшинове.

А. А. Богданов ко мне относился всегда ласково; бывало придет кто из Кувшинова и мне от Александра Александровича конфету: не забывал. Мне кажется, он искренно верил в мое «изумление». Ободренный, я поехал в Кувшиново, меня там освидетельствовали, а главный доктор подписал бумагу. А с этой «изумительной» бумагой Щеголев и Савинков пошли к губернатору Князеву. И чего они про меня рассказывали, а должно быть крепко и упористо, губернатор согласился: он меня оставил в Вологде, но с условием — «под присмотр Щеголева и Савинкова».

Так я и остался в Вологде и два года до последнего дня ссылки, находясь под гласным надзором полиции, прожил под негласным — Щеголева и Савинкова.

Имена

В Кувшинове под Вологодой в сумасшедшем доме доктор Александр Александрович Богданов (Малиновский), автор *Курса политической экономии* и «глас Ильича» в России в те предгрозовые годы. Кончит ссылку Богданов, займет его место О. В. Аптекман — член «Земли и воли» и «Черного передела», один из организаторов группы «Народное право».

В Кувшинове с Богдановым и Марьей Богдановной — Анатолий Васильевич Луначарский, автор «Брадобрея», нарком по просвещению, а тогда только выступивший в литературе под псевдонимом Анатолий Анютин (*Русская Мысль*), женат на сестре А. А. Богданова Анне Александровне. «За обедом между первым и вторым блюдом пишет по акту!» — так говорили про Луначарского за его письменную кипучесть. Из первых поэтических опытов мне вспоминается его стихотворение «Она умерла».

На Галкинской-Дворянской в доме костела — Борис Викторович Савинков, женат на дочери Г. И. Успенского Вере Глебовне, и у них дети: Таня и Витя. Тогда еще не автор *Коня бледного*, а, как и Луначарский, только что выступивший в литературе под псевдонимом В. Канин в московском *Курьере*. А около Савинкова по той же улице — Борис Николаевич Моисеенко, впоследствии член «боевой организации» у Савинкова, а кончил виселицей.

На Желвунцовской — Павел Елисеевич Щеголев, автор исследования *Сказание Афродитиана о чуде в Персиде*, редактор *Былого*, основатель Музея революции, писавший тогда театральную хронику в *Театре и Искусстве* под псевдонимом П. Павлов. На той же Желвунцовской — Вера Григорьевна Тучапская, переводчица К. Тетмайера (изд. В. М. Саблина, М., 1902 г.) и Павел Лукич Тучапский, Юлия Григорьевна Топоркова, др. Чиникаев, Владимир Валерьянович и Любовь Николаевна Татариновы и сын Любови Николаевны Миша Чернов. И по соседству — Адам Дионисиевич Рабчевский, о котором шла слава, как о будущем знаменитом адвокате («на одном собрании два часа без передышки говорил!»), писал стихи, но не печатал и занимался, как помощник, у б. ссыльного присяжного поверенного Николая Васильевича Сигорского, женатого на Анне Александровне.

В единственной «первоклассной» гостинице в «Золотом Якор» Николай Александрович Бердяев, автор *Субъективизма*, наш знаменитый философ, в ту пору увлеченный «Женщиной с моря» и «Геддой

Габлер» (статья его в *Мире Божьем*), переходил от марксизма к идеализму. И по соседству с Бердяевым — Иосиф Александрович Давыдов, автор *Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?* А за Давыдовым — Борис Эдуардович и Любовь Александровна Шен, Марья Вильмовна Кистьяковская и Снежки.

В «колонии» в доме Киришина (что-то вроде коммуны) неподалеку от «Золотого Якоря»: Ольга Гермогеновна Смидович, сестра Вересаева, автора *Записок врача*, Николай Михайлович Ионов, Зоя Владимировна Александрова и дядя Яша Принцев — Яков Васильевич (воспитанник в Чудове у Г. И. Успенского), по своей доброте превосходивший всех, кого я только видел; его лицо и улыбка сияли круглый год весенним вологодским солнцем! Все они работали в статистике под начальством Петра Петровича Румянцева. В «колонии» одно время жила Елена Михайловна Крумзе, напомнившая мне потом Марью Михайловну Шкапскую, и тоже стихи писала, но не такие, не «розовские», а что увидит, то и опишет. И еще: Анфуса Ивановна Смирнова, Анна Николаевна Рождественская и Бронюшечка — статистики. А наискосок от «колокольни» бывший ссыльный присяжный поверенный Владимир Анатольевич Жданов и Надежда Николаевна. А от них два шага Людмила Викторовна и Отто Христианович Аусем, впоследствии советский консул в Париже: с лица туча, а по душе сам май и, как бывало, примутся с П. Е. Щеголевым песни петь — Павел Елисеевич «чтобы ей угодить, веселей надо жить!», а Отто Христианович «на ней большой бриллиант блестел!» — мертвого подымут!

На Ивановской — штурман Николай Константинович Мукалов, награжденный серебряными медалями за спасение утопающих. А этажом выше — Иосиф Доминикович Косминский, старый слесарь, и два его сына, одного звали Мячик, а другой Стасек. А по соседству Щербаковы и музыкант Жилинский.

За Собором Василий Васильевич Бадунин, пензенский семинарист — «Фогт и Мошот», напомиавший мне Павла Владимировича Беневоленского; по соседству пензяк, Вячеслав Алексеевич Карпинский, редактор московской *Бедноты*, и Сарра Наумовна Равич, нарком вудел Северной Коммуны, а потом зав. Отд. Управления Петросовета и зав. Наркоминдела в Петербурге, и Войткевич с Малининым.

За острогом старый статистик Сергей Николаевич Суворов, Иван Акимович Неклепаев, Бороздич, Русанов. Между остро-

гом и Золотым Якорем Саммер, впоследствии начальник Вологодской Чеки, и там же Маноцков и его жена Анна Владимировна, сестра Бронюшечкой, Анна Николаевна Шепетова и князь Аргутинский с женой и дочерью Серонушей, что значит «любовь».

В Вологде ходил хромой ссыльный Ксендз, автор «Сон Царя», и пиротехник Петрашкевич, первый хорист и запевала: голос, как у знаменитого василеостровского книгочия — у Якова Петровича Гребенщикова, изю всех один ведет и ни с кем в лад — альпийский рожок. Был одно время А. В. Амфитеатров, стоял в «Золотом Якоря», но его никто не видел, только шубу, о шубе и говорилось.

...

В Усть-Сысольске: Федор Иванович Щеколдин, автор «Электрическое солнце» (альманах *Пряник*, 1915 г.) и повести «Голчиха» (отрывок напечатан в *Деле Народа*, 1918), и с ним: Александр Иванович Петров, Андрей Петрович Завадский, Тупальский, Ян Янушкевич, Адольф Келза, Савицкий, Михаил Кириллович Биринчик с женой и шорник Логащ.

В Кадникове: Белоусовы Петр Ильич и Ольга Васильевна.

В Великом Устюге: Викентий Андреевич Дрелинг и Зинаида Павловна, урожд. Цурикова, Белецкий, Н. Рассказов, Серебряков, Курицыны и Тепловский.

В Красноборске: др. Заливский и Любовь Семеновна и Бебка, их сын; на Печоре — др. Севастьянов — сумасшедший.

В Сольвычегодске: Казимир Людвигович Тышка (похоронен в Сольвычегодске). О нем особенная память: человек тончайшей души и одаренный; моя мечта: то немногое, что осталось, — «рассказы» — издать отдельной книгой с портретом; какое прекрасное лицо! И там же — Николай Павлович Булич, Казимир Адамович и Янина Ивановна Петрусевичи, др. Петр Евграфович Полоский, Футников, Юлиан Марианович Малиневский, Александр Алексеевич и Вера Владимировна Ванновские, Дмитриевский с женой, ветеринар Николай Иванович Гусев, Скулимовский с женой и дочкой, два брата Стечкиных, Павел и Вячеслав, Александр Владиславович Цверчевич, Поморцев, Зюков и Алексей Васильевич Евреиннов — «у которого было 22 обыска!»

...

Срок ссылки три года. Усидеть на одном месте нет никакой возможности — осто-чертеет! — и обыкновенно передвига-

лись: из Яренска и Усть-Сысольска в Сольвычегодск, из Сольвычегодска в Великий Устюг, а потом в Тотьму, либо в Кадников и, наконец, в Вологду, или прямо в Вологду.

Возраст ссыльных от семнадцати до сорока и выше. Всех партий, какие только есть, и такие, ни подо что, или еще «не выявившиеся».

Если которые на Олимп не метили, на Парнас не совались, то и без «имени» всякий чем-нибудь выделялся! Н. М. Ионов известен был как изобретатель конспиративных пряток: в летний вологодский зной он появлялся в непромокаемом плаще, а это означало — какая-нибудь конспиративная сигнализация; или, и не рыболов вообще, а ходит по улицам с удочками, и никак не поймешь, чего эта удочка, а он себе знает и, конечно, тот, кому нужно, смекнет. Тоже и другие, кого ни возьмешь, не без искусства: Третьяков — охотник на лыжах, Б. Э. Шен — на велосипеде, Цандер — гармонист, Квиткин — зоолог, Кварцев — книгокуп! — получит вспомоществование, другой бы на его месте еды себе купил, ветчины там или огурцов, а Кварцев трах — на все книги, и опять без денег. А вот Николай Иванович Малинин: ходила молва, будто для закала «сжижал в муравейнике» и большой любитель иностранных слов, «оратор». Тоже и Бабкин — этот умел так русскую плясать, ни один Лифарь не угонится, а уж Лифарь свое дело понимает. Ну, и Моцеевский, и Моц, и Пьянковский тоже чем-то отличались. И если искусством не владеешь, меткое слово все покроеет: дядя Яша Принцев, никакой философ, а как-то, находясь в прекрасном кругу статистичек, не без глаза заметил: «Почему, — сказал дядя Яша, — в 17 лет не думают, как одеться, а в 27 наряжаются?»

...

В Вологде жил датский писатель Аггей Андреевич Маделунг (Aage Madelung, автор *Jagt paa Dug og Mennesker*, а по-русски у Брюсова в «Весах» «Сансара» в моей редакции).

Часто наезжал Иван Платонович Каляев: по соседству, в Ярославле, служил он корректором в газете *Северный Край*. Приезжала Бабушка-Брешковская, Лидия Осиповна Цедербаум (Дан), сестра Мартова, Евгений Николаевич Чириков — рассказы читал! — Всеволод Эмильевич Мейерхольд и Аркадий Павлович Зонов, Богдан Александрович Кистяковский. А из Грязовца Александр Константинович Левашов, в дни молодости при побеге Кропот-

кина был у него за кучера, и сохранивший до старости революционный запал, и как начнет, бывало, рассказывать, и так живо, и с такой страстью, Савинков корчится.

Все книги, выходившие в России, в первую голову посылались в Вологду, и не в книжный магазин Тарутина, а к тому ж П. Е. Щеголеву. И было известно все, что творится на белом свете: из Арзамаса писал Горький, из Полтавы Короленко, из Петербурга Д. В. Философов, он высылал *Мир Искусства*, А. А. Шахматов, П. Б. Струве, Д. Е. Жуковский, а из Москвы — В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис и Леонид Андреев. Между Парижем, Цюрихом, Женевой и Вологдой был подлинно «прямой провод».

Живое участие в делах ссыльных принимала Ольга Николаевна Кудрявая, жена председателя губернской земской управы.

Подорожие

У меня всегда были царские замашки. В раннем детстве в Москве я щедро раздавал счастье — я хлопал левой, отмеченной счастьем, рукой по руке всякого, кто бы ни попросил; потом в играх — в игре в «казаки-разбойники» я раздавал бумажные ордена и медали; забыл, чем награждал я, очутившись в Пензе, Сергея Алексеевича Баршева, Сергея Ивановича Ершова, переводчика *Логике* Милля, др. Курнлу, Иннокентия Васильевича Алексева и Горвица, потом я буду выдавать «обезьяньи» жалованные грамоты с печатями, а в Вологде я писал «подорожие» (некрологи).

Всякий отбывший срок ссылки в канун отъезда устраивал прощальный вечер, я заготавливал это «подорожие», по-старому сказать подорожие, напутствие, некролог, а П. Е. Щеголев, большой искусник «выразительного чтения», читает полным голосом, отчетливо выговаривая все буквы по писаному. Некрологи я писал на листе в виде свитка с закорючками и завитками. Прощальные вечера обычно устраивались у В. А. Жданова. За годы мало чего сохранилось, «покойники» теряли «некрологи», как «кавалеры обезьяньего знака» теряют свои обезьяньи грамоты, но у меня кое-что сохранилось.

Павел Елисеевич Щеголев
— почетный академик —

Синие льды плывут по Белому морю; весенние стальные вихори, отбушевав, сильные, забились в ледяные пещеры; вздулся лопух, торчит его малиновый репей; острый

запах крапивы, как летом: ходи с оглядкой. Опустился желтый одуванчик и какие еще цветы, все отцветает. Среди бела дня и «белой» ночью на реке пароходы, они свистят свище грохота и колоколов, а орут — затыкай уши! — а то как запоет, и столько в пении соблазну, так бы и сел налегке и поехал, а куда — все равно. Заря с зарей — вечерняя и утренняя — и нет начала дня, как нет и конца ночи. А земля, как ударило — первый гром! — в рёспари без отдыха, без прощупу и день и ночь громка. В желтом безотбойно снует и зуд — комары. В такую ночь нет сна. Шторы завешены, заткнешь и все скважины, завернешься с головой, а в ушах зуузум заунывно точит ночь.

У Спасителя ударили полночь. И я очнулся: Золотой Якорь, но только выше, 17 этажей! Весь в черных флагах, а в окнах белые огоньки.

Я позвонил.

— Что такое, — говорю, — черные флаги и эти огоньки?

И вижу, не швейцар, а сам Константин Лукич «обер»:

— Павел Елисеевич... — обер говорит шепотом, — приказали долго жить.

— Что вы говорите, как и когда?

— Неисповедимо.

Тут подошел Николай с салфеткой:

— Покушали, — сказал Николай, — зубок у них и разболелся. Позвали меня: «Эх, говорят, Николай, мне бы мадеры в почках, с зубом света не вижу». — «Слушаюся, Павел Елисеевич». Да скорее в бутфет. А они без меня прилегли на диванчик, руку под головку, и тихо преставились. Вот и ихние калоши.

В прихожей, обидчиво глядя в разные стороны, стояли внушительные калоши — приманка прокурорской собаки: собака вышла из-за угла, потянулась и, ласково обнюхав, загребла ногой.

— И больше ничего не осталось?

Николай молча покачал головой — и вдруг как зазумит — комар.

Я поспешил наверх. Двери и пол черные. И № 1 — место веселых сборищ — в черном.

— Занят?

— Никак нет! — обер Константин Лукич, как и Николай-комар, покачивал головой, — на бляярде ушли играть: Василий Христофорыч Белозеров, Владимир Анатольевич Жданов, Борис Викторович Савинков.

Я вошел в № 1, спросил в память покойного бутылку джинжиру. И сел к столу один. Было тихо, точно на том свете.

* * *

— диван, на нем Николай Александрович Бердяев не без игривости декламирует «одного не доставало...» — стих из «Царя Никиты», стол, на нем Ааге Маделунг выплясывал неподобный датский танец кентавра, а вон оттуда мрачный Белозеров подавал свои веселые острооты; а тут — где сижу я — сиживал сам Павел Елисеевич. Как сейчас вижу «бритое его лицо», хищные ноздри, подвитую гриву крепких воронежских волос и из-под пенсне бесстыжные глаза: «свобода, смелость и дерзость» — говаривал покойный, бахвалясь за бутылкой.

Первая моя вологодская встреча — Щеголев. Моя квартирная хозяйка Юлия Ивановна, мастерица печь пироги и варить варенье, угостила нас яичницей. Яичница-глазунья — хороший знак. А потом чай с душистым поляничным вареньем. А в окно булавочная звездочка из белой ночи — и это тоже не плохо.

— Я скептик, исповедую Монтеня и восхищаюсь Рабле, — говорил Щеголев, поддевая с пышашей сковородки неподдающийся яичный глазок, живой как устрица, — а меня под доску ташут — в «общем порядке!» Вот и опять был обыск.

* * *

— по Вологде на лодке, за нами луна — широкий ключ — а не догонит. Лунная ночь — находчивый и хитрый вопрошающий Кирик, а разговоры — душа нараспашку.

— «Павел, — говаривал мне покойный отец, — рассказывает П. Е. Щеголев повесть своей жизни, — Павел, учись на трубе, толк из тебя выйдет». А между тем...

И тут мы узнаем таинственное происхождение нашего Рабле: отец Щеголева служил писцом в управе, а между тем — Павел Елисеевич оказывается царского рода:

— Как известно, — говорит он, — Александр III проездом был в Воронеже, ну и соображайте, я родился ровно через девять месяцев...

Николай Александрович Бердяев в лунном сиянии любит своим отражением.

* * *

— весь день, как много дней, туркестанский зной, и лишь к вечеру, когда только и можно дышать, выходим на волю и медленно идем по дощатому тротуару к Собору на набережную: там фруктовые дарьки дожидаются покупателей — груши, яблоки, сливы, виноград, смородина, арбу-

зы, чего хочешь. С пятифунтовыми пакетами усаживаемся на перила набережной.

— В гимназии бывало,— рассказывает Щеголев,— на спор пирожные ели: кто больше съест. Я всегда выигрывал.

Щеголев не хвастал: аппетитом Бог его награждал и дана ему была вместительная утроба. На масленице на моих глазах съел без передышки 40 блинов. И ничего, только прямо из-за стола и на пол лег, вытянувшись, полегал и как ни в чем поднялся. Это было в полдень, а вечером опять мы ели блины. И так всю неделю.

С набережной идем в «колоннию» на реферат. Читает А. А. Богданов. Он в черной рубашке, подстриженный и такой, точно только что из бани, и листки перед ним мелко исписаны без помарок. А читает он про «энергетический метод». Слушателей полно. И в сенах не протолкнешься. Все в сборе. Выбирают председателя. Конечно Щеголев.

— Павел Елисеевич, вам председателем.

А Щеголев, как сейчас вижу, на ступеньках лестницы в сидячем положении, и никакие оклики не смутят его мирный сон.

— Ну, еще бы,— объясняет Иосиф Александрович Давыдов,— Щеголев пуд груш съел.

...

— Павел Елисеевич скинул с себя рубашку, повесил на гвоздик. В купальне занял он всю скамейку, а на краешке нас трое: я, часовщик и лесоторговец. На подсыхающем полу играет солнце — по щелястой стене бегают зайчики. Щеголев, не торопясь, погрузился в воду — поднимаются волны, купальня ходуном пошла, буря.

— Эх,— не выдержал часовщик,— Россия.

— Дда,— одобряет сосед,— Ангарец.

И оба, прикованные, следят за пловцом: с намыленной головой Щеголев плывет. В купальню набрались любопытные: не купаться, а посмотреть. Они виновато жмутся к стенке: они опоздали. Только бы не упустить, когда выходить будет.

— Зосима и Савватий! — подхватывает кто-то из опоздавших.

...

Покатила голова,
Покатилась голова...

На столе Кроновская мадера с оборванной голубой ленточкой. (Архангельского Тенерифа больше не достать). Щеголев

поднялся из-за стола после обеда и предался пению:

Поклонился он народу,
Помолился на собор,
А палач в рубахе красной
Высоко занес топор.

А когда разбойничья кончится, начинается представление: семена ногами, как в оперетке, Щеголев ходит по комнате и один ходит, а как будто с ним в ногу стулья и стол и посуда: «Венера любит смех, веселие для всех». И вдруг как захохочет да с такими раскатами и так заразительно, стены трясутся. А потом — грох об пол:

— Доктора! Позовите мне доктора! — И так плачевно выводит и жалостно — где доктор? — Соседи сбегались.

Я представляю доктора: я сажусь на больного и мну и трясу его за голову и кулаками и коленкой, а он — «помер».

— Помер,— объявляю,— не дышит, конец!

А он «Костромой» как вскочит и еще прытче, а смех еще пуше, ну, ржет.

...

Вологодский театр. Бенефис Стоянова (Стоянов антрепренер и режиссер). Что бы такое придумать для бенефиса? Да такое, чтобы не только в Вологде, а и по всей России шум?

— Это можно,— говорит Щеголев,— приедут два француза из Парижа из «Théâtre Libre», поставим Метерлинка, электрических свечей 20 000.

— Павел Елисеевич,— Стоянов на все согласен: пускай французы из Парижа, пускай Метерлинк,— но в городе нет электричества.

— Так Аркадий Павлович проведет. Аркадий Павлович Смирнов — почтовый чиновник, живем у одной хозяйки, страстный охотник, но к электричеству никакого.

— Ну, если Аркадий Павлович...

Стоянов так верит, что я и Павел Елисеевич — мы «приезжие французы». Щеголев будет за Антуана, а я просто за Пьера, почему же не поверить и в электричество почтового чиновника?

С месяц висят афиши — Антуан и Пьер из Парижа французы, Метерлинк и 20 000 электрических свечей. Билеты распроданы. Полный театр. После вызова — а публика требовала обязательно приезжих французов,— полицмейстер приказал «прекратить». А уж поздно: афиша из Вологды попала в Ярославль, из Ярославля в Москву, из Москвы в Петербург, и пошла

гулять — вся Россия! — и еще нигде такого не бывало: Антуан и Пьер и электрификация.

...

Чтобы ей угодить,
Веселей надо жить...

«веселей-веселей-веселей — (и грохот): доктора!» — Доктор: «Сердце остановилось, все средства напрасны, конец!»

На дне бутылки белели кристаллы. Я поднялся.

— Записать? — проснулся обер.

— Да, — на покойного.

И я вышел. Я спустился по черной уплывающей лестнице. Бледный, как Тиняков, прошел Белозеров, промелькнуло каменное лицо Савинкова...

Иосиф Александрович Давыдов

— Автор *Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?*

Иосиф Александрович помер.

— Давыдов?

— Давыдов, пиши! — понукая, говорил Павел Елисеевич Щеголев. И Давыдов писал день и ночь, несмотря ни на какую погоду.

Вот он: сухой, на тонких вытянутых ножках, в розовой сорочке, желтые ботинки — издали напоминают портрет Канта с бородою; неизменно записная книжка в руках; шурясь, записывает.

Покойный не любил неясного и неопределенного.

— Пардон-с, пожалуйста! — морщась, прижимал он левый кулак к сердцу, — постулирование абсолютного? все это бессодержательные слова. *Leere Wörter!* — и приведет латинское изречение или излюбленное философами: «Это все равно, как если бы вместе с водой выплеснуть и ребенка из ванны».

Я помню встречу: покойный отдыхал на диване в столовой у В. А. Жданова, в руках книга — скоро позовут чай пить. Я помню наши вечерние прогулки около Собора по бульвару: перешагнув через Авенаруса и Маха, покойный настойчиво требовал признания «злого начала» — черта.

Обладая даром ясновидения, однажды вечером по дороге в Золотой Якорь к Н. А. Бердяеву, Иосиф Александрович споткнулся и угодил носом в тумбу, а когда затворилась за нами дверь № 1, он попросил стакан чаю и даже без лимона. Отличаясь трудолюбием, покойный тихо скончался за переводом с немецкого.

Николай Михайлович Ионов

— статистик —

Да, неспроста всю свою жизнь Ионов посвятил изучению «женского вопроса». И дядя Яша Принцев и Базиль Бадулин отдали ему первенство над всеми румянцевскими статистиками.

Покойный появлялся незаметно, сгорбившись, покашливая, зимой в башлыке и с подвязанным горлом, а говорил шепотком. И как тут было устоять: женское сердце на тихости податливо. Говорят, Николай Александрович Бердяев даже рассердился.

Я помню व्यюжные усть-сысольские вечера, в окно мечутся «кутьи-войсы» — там их белое царство. Я помню синие осенние сумерки и из сумерек оловянные глаза подпольного «быбули». Я помню красный июльский зной и из колосьев васильки-«полёзницы». Я помню весенний прилет птиц и шелк «кикиморы»! — покойный все хотел приняться за какое-нибудь систематическое изучение, он мечтал овладеть всеми «отраслями» знания и, наконец, остановился на фотографии.

Сердце у него было доброе, улыбка насмешливая: посвистывает и ухмыляется, — его сломанный тяжелый браунинг, с ним он не расставался, остается памятью о его незлобности.

Николай Константинович Мукалов

— моряк, рыцарь и герой —

«Не хо-ро-шая тут жизнь! Не хо-ро-шая!»

Борис Викторович Савинков, расставляя буквы на польский лад, долбит. Пообедав в кредит, шли мы за добычей: денег ни у кого, П. Е. Щеголев, — вот тебе и Антуан! — сидел в Вологодской тюрьме.

А была весна, и чего-то, как весной, тянет. Самому поседливому не усидеть, а уж таким, как Савинков, вот он все и сердится.

Мы шли молча.

Матрос с «Сухоны» остановил нас:

— Штурман помер! — сказал матрос.

— Штурман?

— Да, Мукалов Николай Константинович.

Я не хотел верить, «Мукалов всегда что-нибудь придумает и выручит, нет, это никак невозможно!» И поспешил на Ивановскую.

И что же вы думаете, — покойный, как сидел у стола и переписывал «Разрушенный мол», так с пером в руке и застыл. И за мной оставалось сказать ему последнее слово:

— Мукалов,— сказал я, обращаясь к покойнику,— геройский человек! на твоей гордой голове торчали вихры, а борода — льяной колышек и ты налетал ястребом. Знала тебя вся Вологда. Вытащить кого из Яренска в Вологду, без тебя не обойдешься, или отыскать работу в статистике у Румянцева, ты поможешь. Ты входил в самую толкучку и умиротворял непримиримое: с.-д. с с.-деками и с.-р. с с.-эрами: каждый из них считает правым только свою «правду» и никого не хочет слушать. А к началу твоему ты был беспощаден. Помнишь, когда провожали Третьякову, ты крикнул: «Наплюйте на них!» И Булахов, жандармским нюхом уловя смысл твоего восклицания, громко заметил: «Еще интеллигенты!» А вот номер *Северного Края*: какой-то неизвестный, катаясь на лодке по Вологде, кувырнулся и тонет, «как вдруг откуда ни возьмись киевский дворянин Николай Константинович Мукалов...» Это ты появлялся вдруг и спалася утопленников. У меня сейчас нет ни копейки, ну хоть сколько-нибудь...

И я остановился. Я понял, что это никак невозможно, и что все мои слова на ветер.

Я для проверки взял со стола спички и сунул себе в карман, потом выпростал из его заколенелых пальцев ручку — ну хоть бы что.

Раскрыты окна — весна — по-весеннему зазывно свистят паровозы, кто-то счастливым уезжает.

Входит Вера Глебовна Савинкова с Таней.

— Вот, полюбуйтесь,— говорю,— обманул!

— И вправду помер?

— Нет,— погрозила пальчиком Таня,— нет!

Николай Александрович Бердяев

Мы жили так: на улице Щеголев, а я во двор — сдала мне Подосениха сторожку. А обедаем вместе.

Одному в сторожке жить хорошо, только холодно. Печка топится жарко, а ветер в щели и под дверь: и пышет и знобит.

С полдня мело, к вечеру круть. И дверь не отворишь; разгребай лопатой. Закрыв я трубу. А ветер и там, трясет вьюжкой, гудит.— Я оканчивал перевод Леклера *К монистической гносеологии*, собирался к Бердяеву — без него не обойдешься: много мудреных слов, философы иначе не могут: суппонировать — субсумировать — предцировать.

Иду по Желвунцовской, путь к Бердяеву — и заблудился. Повернул назад, а в лицо еще резче: метель. И черно: японская тушь и хлясть белым. Как-то «женщины с моря», поравнявшись со мной: «Умер! умер!» — кричали. И голоса их сливались в метельную рыдь: «Бер-дьяев-дьяев!» И хоть бы какой фонарь. «Дьявол все огни задул в корчме», — голос П. Е. Щеголева из Бодлера. И опять: черные, вопя: «Умер! умер!» И вдруг все замолкло и только из желобов падали капли. И глазам ясно: белый пушистый снег, и на пороге моей двери Гедда Габлер: «Николай Александрович Бердяев помер!» — «Ну вот еще! — наверно сочинил Подстрекозов». Гедда Габлер тихо плакала — суппонировать, субсумировать — предцировать.

Вижу темные локоны без всякой куафюры; глаза — по неостывшему асфальту солнечной рябью; смех — покойный смешно смеялся. И только раз, вступившись за одну из Гильд, выбежал на мороз на улицу без шубы, но в перчатках, и махал увесистой японской палкой, норовя куда-нибудь по «мерзавцу».

Есть такое в жизни: «как надо», оно убивает всякую радость жизни. Я встречал так воспитанных людей — без всякого порыва и «безумия». Они проходят жизнь ровно, должно быть, и спокойно, — вовремя встать, вовремя есть, ну все «как надо!», за них не страшно, но какая скущина, одним своим видом — «трезвость, осторожность, расчет» — они несут мертвую скуку. В покойном не было и намека на такое, вот уж кто всю жизнь прожил без всякого «как надо», оттого-то с ним всегда было легко и этот его смех — «смешно смеялся».

Сколько народу он возьмет с собой на тот свет. Ведь все эти «женщины с моря», все эти кричащие в метель, с отчаяния спешили за ядом в аптеку к Гальперину. И кто его заменит? Луначарский не в силах затопить своим обильным красноречием разверзшиеся «бездны»: «бездну вверх и бездну вниз».

Переключались петухи. Кончалась ночь. Я заглянул в окно. А небо чистое! — звезды.

И глядя на звездное небо, точно и первый раз увидя, я понял, что звездное небо — это то же, что наша земля, и оно для земли. Звезды — это семена, а звездное поле — небесное поле. И есть ли там какой-нибудь «дух», или это зримое, осязае-

мое глазом — эти льющиеся блестящие сперматозоиды, носители жизни, это сама кровь в ее чистейшем существе.

— Николай Александрович, вы слышите? ей-Богу, я что-то не чувствую и никак не могу себе представить ни ангелов, никакой силы бесплотной там, ну, что хотите... и где хотите, только не на этих — нормальнейших, «как надо», математических небесах. Но ведь это все создано «безумием», вы говорите, и там, за этим там, не все «в порядке», совсем не «как надо», иначе не было бы ни земли, ни звезд и никаких законов, а один бы Дух Божий носился над бездной бесформенной, как мечта.

Иван Акимович Неклепаев

— автор многочисленных, не увидевших свет исследований по земскому вопросу —

Такой законченности и цельности, кого ни возьмите, все будет не так, нет, это вылитый от имени до голоса: «Иван Акимович Неклепаев» — весь добрый, мягкий, приятная улыбка, нежный голос и румянец, «как заварное пирожное, забытое в витрине».

15 лет он прожил в ссылке — в Великом Устюге и Вологде.

15 лет мечтал о Париже.

15 лет в осенние лунные завораживающие ночи томиться у окна; весенних ночей на севере нет.

Ради Ивана Акимовича я переловил бы всех курских соловьев и в клетках перевез бы в Вологду на бульвар и в садик; ради Ивана Акимыча я посадил бы на каждом перекрестке музыкантов, и пусть бы в теплую погоду, иначе можно простудиться, они играют Берлиоза.

Помню у фотографа: все собрались сниматься, нет только Ивана Акимыча. Ждем. Наконец явился: весь сияет — надушен татарским одеколоном: «Иван Акимыч, какая жалость: на фотографии ведь этого не выйдет!»

Еще мне вспоминается весенний вечер, накануне его роковой ночи. Я застал покойного за самоваром: он только что вернулся из бани и пил чай с малиновым вареньем.

У него сидел гость — «другой боец погибший — Давыдов». И вспоминая свои, зеленые неопытные годы, Иван Акимыч улыбался и тужил, «что поздно вкусил от зла».

Последние слова покойного:

«В кои веки раз» — и — «по мере возможности».

Зоя Владимировна Александрова — лестгафтичка —

Это было в тот год, когда Луначарский исписал всю бумагу Поди, а П. Е. Щеголев не окончил и клочка чудом уцелевшей промокашки, а на запрос А. А. Шахматова отвечал неопределенно: «шлите бумагу».

Это было в тот год, когда часто собирались собрания и говорилось помногу, когда Вологдой правил тот самый Муравьев, что издал постановление, запрещающее сыльным посещать пристани и вокзал. (Пристани и вокзал — сколько надежды и какое развлечение.)

Н. И. Малинин, человек закаленный, сживал и не раз в тюрьме, а по собственной воле на муравейнике, обсуждал под руководством А. А. Богданова, с точки зрения экономического материализма «желательное» и «нежелательное» по отношению к тем из сыльных, «кто говорить не может».

Жандармский поручик Булахов и прокурор Слетов «веселились», забирая в катажку легковесных Зюковых и обнаруживая при обыске гениальные «прятки» Порorceвых.

Все были довольны:

Борис Эдуардович Шен сшил себе фрак. Луначарский женился.

У Отто Христиановича Аусема обнаружилась широкая русская натура.

Суворов и Малиновский, упражняясь, стреляли в доску.

...

Осеннее сентябрьское утро. Самая пора «нового лета». И хорошие заботы. И чего-то грустно. Но никаких снов. Все здесь на земле, где самые свежие и крепкие цветы — пунцовые и бледно-фиолетовые астры, и под этим небом, где горят самые яркие осенние звезды.

— Я влезу! — голос за окном.

— Лезьте! — отвечаю.

— Я влез.

И я увидел плащ, а из плаща рыжие крепкие усы и удочки.

— Идете, нас ждут, — глухо сказал Николай Михайлович Ионов.

И я подумал: «быть беде, неспроста и плащ, и удочка».

Мы вылезли через окно и шли по ясной улице: вчера был дождь — свежо.

— Тут! входите, — глухо сказал Ионов и пошевелил усами.

Спотыкаясь о калоши, мы спустились в подполье. Это был дом Кишкина — «колония», населенная сыльными. Длинная и

узкая, как коридор, комната была полна народу. Сквозь дым я различаю бороду Луначарского. Он кончил свою речь:

— Рабочие должны быть жадны! — прорезал его заключительный клич.

А в наступившей тишине звенело:

— Она умерла — она умерла...

Малнинин говорит о высылке Щербакова в Яренск и предлагает в виде протеста всем ехать в Яренск.

— В Яренск! — подхватывают. — В Яренск!

И сквозь крик, как колокольчик:

— Она умерла — она умерла...

Это будет последний и самый решительный бой...

Три голоса, затянув зловеще, и вдруг остановились, густой дым заволок лица.

— Вот она! — глухо сказал Ионов.

И я увидел над кроватью Маркс, а под Марксом Зоя Владимировна.

Но меня как отшвырнуло:

— Убирайтесь, — сказала покойница, не открывая глаз, — кажись, и раньше я вас осаживала!

Дядя Яша Принцев хлюпал.

А я полез в окно за Ионовым. Золотая осень. Свежее утро, будет ясный день.

Савинков

— *Le tueur de lions* —

Ему нужно было завоевать по крайней мере Африку и подняться за стратосферу, чтобы начать завоевывать Азию и лететь еще выше, и чтобы обязательно были триумфальные встречи и за его «колесницей» — самый, какой только найдется, шикарный автомобиль — или за ним, въезжающим на коне, вели тиранов, как это было принято в Византии, но которых после зрелища, и это уж не по обычаю византийскому, казнят по его приказу его бесчисленные слуги. И, конечно, немедленно будет ему воздвигнут памятник. Потом он все это опишет, но не как хронику революционного движения, а как трагедию с неизбежным роком, нет, еще больше, как нечто апокалиптическое, и свою роль, как явление самого рока или одного из духов книги, запечатанной пятью печатами.

...

Чувство рока было очень глубокое. В перерыве: рулетка и скачки — но, кажется, были срывы — везет и выигрывают не такие. И стихи — нежные лирические стихи под Ахматову. И это так понятно: лирика исток трагедии — из стихов объясняется все — и триумфальный въезд, и казнь тиранов.

Если бы перевелись все тираны, ему нечего было бы делать. Невозможно себе представить Савинкова в какой-нибудь другой роли, как только уничтожающего тиранов, чтобы, уничтожив последнего, самому объявить себя тираном — ведь, уничтожая их, он уже был им. И его смерть мне представляется понятной: рано или поздно он должен был уничтожить и самого себя.

Тот самый рок, который так глубоко он чувствовал в себе, вел его к той развязке, которая и наступила. И это неважно, как оно случилось. Вынужден ли он был броситься с пятого этажа и разбиться о камень, или его расстреляли: какая казнь — воздушная или огненная. Ни то ни другое не случайно.

И это тоже не случайно, что после смерти дважды видели его — неуспешный дух его, ожесточенный, не может подняться, он еще «рыщет» по земле. И тоже не случайно, что его образ суров.

Н, знавший его хорошо в жизни, увидел его на Тверском бульваре, побежал за ним, нагнал и, заглянув в лицо: «Борис Викторович!»... — «Вы ошибаетесь!» — сказал Савинков, и как сказал! и пошел дальше, а тот остался стоять, как пригвожденный.

В другой раз в ресторане для высокопривилегированных в необеденный час, когда никого из посетителей не было, два приятеля вошли пообедать, не имея никакого права, но ведь всякие права можно получить позолоченным нахрапом. Один пошел в уборную, другой остался. И оставшийся вдруг увидел, как из-за стола, окончив тоже неурочный обед, поднялся Савинков. Глаза их встретились. И Савинков назвал его по фамилии. И пошел. Это было так неожиданно и так поразительно, у Х., совсем неробкого человека, задрожали руки, и он ничего не мог ответить. И выходящий из уборной Н увидел: Савинков идет к двери — застыл на месте, не веря глазам.

Воля человеческая, направленная на разрушение, несет в себе созидание; разрушения во имя разрушения не может быть, а всегда во имя какого-то созидания. Организованное истребление тиранов, — дело бесконечное — пока творится жизнь, действует человеческая воля: всякая воля несет в себе тиранство. Савинков мог бы остановиться на провозглашении себя диктатором. И начать какое-то созидание. И тут непременно произошел был срыв, как в рулетке или на скачках, — не такие выигрывают, не такие и создают. У Савинкова не было никакой подготовки и никаких познаний, нужных для «правителя государства». Вся жизнь ушла на

организацию истреблений. Очутившись у власти, он ничего бы не выдумал, ничего бы не изобрел: истребительный зуд истощил все его силы. Диктаторство Савинкова было бы самой безрассудной тиранией, какую только можно себе представить.

Но этого не свершилось. Развязка наступила тогда, когда это стало необходимым — дело его жизни кончилось. Оставалось истребить последнего тирана, а таким он был сам. И его восклицание в суде: «как это могло случиться, что он попал в обвиняемые?» — это вопль человека, приговорившего себя к истреблению. Суд над Савинковым был его судом над собой.

То созидание — то во имя, которым двигалось его разрушение, осуществлялось, но для полного осуществления требовало последнего действия — устранения того тирана, который вызвал его к жизни.

Савинковым нельзя сделаться, Савинковым надо родиться. Савинков чувствовал себя роковым — да он и был роковым. Его явление в мире было отмечено, он был избран среди познанных. В его существе были налитость, крепость, это был узел. Мимо него нельзя было пройти. И всякая другая воля непременно натывалась на его волю. И он знал только свою и не допускал ничью. Всякая другая воля, если она не склонялась перед ним, мешала ему. И кто не хотел сталкиваться с ним, сворачивал с дороги. Но кто ему подчинялся, перерождался, усваивая даже его жесты и подражая походке: савинковцев можно было отличить из тысячи.

Явление Савинкова роковое. Он должен был и не мог не совершить того дела, которое ему было назначено и для которого он родился. Революционер, не книжник, проникательный и находчивый, действовал по указке провокатора и провокацией был завлечен на свой суд, дважды ослеп — так властен был рок, одержимости его волей совершить назначенное дело и завершить дело последней собственной казнью.

Савинков не мог ни с кем соединиться, как равный с равным, и не потому, чтобы был как-нибудь особенно оригинален, а потому, что был поглощен своей волей — в воле он был один и неповторяем, и соединиться с кем-нибудь мог на условии подчинения ему другого, или на признании за ним главного, всемогущего. На этом и основывалась, отведшая его чересчур зоркие глаза, провокация.

Вне своего дела для него ничего не существовало. По устремленности и одержимости он был необыкновенно ценен и

неподточен. Только с годами, совершив все или почти все, он мог искренне оценивать какое-то и другое дело, он понял, что его дело не всеобъемлюще и что есть еще много в мире дел, которые назначаются людям исполнить.

В его глазах люди разделялись на три разряда: на тиранов, которых он призван истребить; на помощников и слуг, исполнителей его воли; и на сочувствующих ему, которые в какие-то минуты могут пригодиться для его единственного настоящего дела. Только с годами из сочувствующих ему он выделил нескольких, от которых он ничего бы не потребовал, которые делали свое дело, — он увидел его с годами, совершив все свое или почти все.

Из таких сочувствующих ему людей своего дела, признающих его, несмотря ни на что, я знаю только трех. С Савинковым их столкнула судьба в «кануны» — в те годы молодости, когда еще ничего не скажешь о человеке: выйдет из него что-нибудь или не выйдет, когда только еще одни порывы и пожелания.

С искренней любовью он всегда говорил о датском писателе Маделунге, который не раз спасал ему жизнь; с восхищением отзывался о Щеголеве, на глазах которого закипала его первая кипь в Вологде. Ирония, переходящая в злую насмешку, никогда не коснулась этих лиц. А без такой иронии редко обходились его отзывы: всегда что-нибудь подцепит.

О людях, связанных с ним по делу, и не о тех, которые совершили свой путь, а о еще живых, я слышал только об одном неизменно бережливый, признательный отзыв. Но я не могу утверждать, чтобы только и был такой единственный.

Я смотрел на Савинкова всегда, как на Революционера, и, зная их повадки, никогда ни о чем не спрашивал о его деле, ни о людях, с которыми он делал свое дело. И эта односторонность — ведь он мог в литературных делах спрашивать меня о чем угодно — сказывалась на моем чувстве: при всем моем признании его, как человека огромной воли, непростого и не случайного, я не чувствовал с ним той свободы и легкости, я как-то сжимался. Или так: его насыщенность своим делом, единственным главным, перед которым все другие дела вроде как делишки, а ведь я не считал своего дела каким-то второстепенным, хотя и не чувствовал в себе ничего «мирового» — я хорошо понимаю, что все мы не Львы Толстые, — стесняла меня. В последние годы, когда он совершил все или почти все, моя стеснительность прошла, я чувствовал надвигающуюся раз-

вязку, видел изживающуюся волю, выветривающийся камень его лица и потухающий, усталый взгляд, и не стеснительность я чувствовал, — жалость, я боялся затронуть что-нибудь больное, но говорил с ним и принимал его легко и свободно.

С любовью и как-то ревниво он говорил о своем сыне Лёве и с каким чувством показывал его карточку.

...

Борис Викторович — даже имя у вас было необыкновенное, «борись» и «побеждай». И никакого «л», никакого намека на те нежные имена, с которыми связана любовь и ваши стихи. Теперь, когда все кончилось, можно говорить уверенно, что все это не нарочно и что другого имени вам не могло быть. В вашем смысле любовь — только исповедание и верность призванию, делу, которое вам было назначено, и никакой другой любви не могло быть. На вашем примере разрушается много теорий, объясняющих человеческую жизнь. Розанову просто нечего было бы с вами делать. И какой вздор о вас пишут, когда, составляя жизнеописание Савинкова, нанизывают романтические приключения. А происходит оттого, или вас не видали в лицо — ведь разве может развиваться на таком камне нежнейший стебелек какой-нибудь любви? — или по-другому и не могут представить, равняя всякую жизнь под одно. Ваше явление в мире особенное, и ваша жизнь непохожая.

«Корень зверя» за три версты чувствуется и никогда не обманешься: и его ничем не закроешь, и сила его даст себя знать и в самой чудотворной святости. И во всяком «переключенном» или, по Бердяеву, «сублимированном», дух его неистребим: просто глаза выдают. Источником деятельности и силы бывает и не только этот чудодейственный носитель жизни — если хотите, тут уклон от нормы, такое редко встречается. Этот источник вне глаза Розанова. Розанов не видал Савинкова, а если бы встретил, он ему бы не понравился. Всякие уклоны в поле Розанов называл «копыты», и тут он все признает, хотя и не все одобряет, но это уж дело вкуса — личной склонности и восприимчивости. Но уклон вне поля просто не мог себе представить. Это что-то вне всякого Божеского закона, не человеческое, а ведь Розанова занимало только человеческое, — «вещи пустые, мизерные, слов несостоящие», «беспрерывная мелочь событий жизни», — «семейный вопрос». — «Это лягушка какая-то, не человек!» — сказал бы Розанов,

вскользь взглянув на Савинкова, и занялся бы каким-нибудь «истекающим», с потеющими руками, для которого «блотающаяся юбка», все, весь круг мыслей и все чувства жизни, все, для чего этот уса-тый сперматозоид служит или распоряжается, ест-пьет и спит. А если бы Розанов попристальной взглянул на Савинкова, он наверное бы сказал не «лягушка», а «камень».

Да это и был камень, брошенный оттуда. Да, есть выходы оттуда — есть одухотворенный не этим продолжением человеческого рода и размножением, как песок земной, есть рождающиеся для исполнения другого завета, и их назначение пройти по земле не сеятелем жизни, а обновителями жизни — грозной рушащейся молнией или чистейшими светильниками нездешнего света; ведь человек рожден не только для земли, но и для неба, ведь только одна черная, теплая земля задушит или ослепит — вспомните, какие преступления совершаются на этой розмази или, как в хрониках говорится, «из-за женщины». Земля не только теплая, а и сладкая. «Корень жизни» — приторный. И его приторность чувствуется.

Савинков был нормальнейшим человеком, нормально устроенным, весь высеченным из камня, не ублюдок, не недоросток, он мог бы и безо всяких трусиков появиться перед публикой и не «оскорбил» бы и самый чувствительный глаз — движущаяся каменная статуя. Явление редчайшее. «Розановское» начало жизни беспокоит, и невольно глаза осматриваются и влажнеют, и этого никак не скроешь. Но кто видел прищуренные глаза Савинкова, устремленные непреклонно, как раз и навсегда зажженный свет, чтобы освещать ему эту и никакую другую дорогу, которую он должен и не может не пройти, потому что он и вышел идти по ней, и непременно пройдет до конца, — кто видел эти глаза, тому ясно, что ни о чем беспокоящем вне «дела» не может быть речи.

И еще: ответить себе из самых тайников и в самой глубочайшей тайне, — что самое важное для тебя? И этот ответ все решит. И может быть только один. Для Савинкова самым важным было его дело — та самая борьба и победа, для которой он родился. Все остальное так, походя, неважно. Или и важно... как декорация для непрерывного и всеобъемлющего триумфа. Ну побольше, чем костюм, все-таки чувство — и все-таки все эти романы, которыми так заняты «жизнеописания Савинкова», очень внешне и многое могло и быть и не быть, не меняя ничего в главном.

Это главное — его призвание — глядело из его прищуренных глаз, а по каменному тяжелому рту, жестокому, бродила насмешливая улыбка, не сужая прищуренных глаз; но простым раздумчивым шагом шел он свой путь, а тигровыми шажками — из тысячи заметный, неповторяемый.

Голоса ему не надо было — такие не могут петь — каменные не поют песен. Его речь: никакой влаги, никакой напоенности, и никакого зноя, и не металл, а именно камень. А по произношению слов какая-то польско-русская смесь, и не скажешь наверняка: русский ли, воспитавшийся в Варшаве, или поляк, говорящий по-русски. И зачем ему голос? Для комнатных разговоров достаточно и самых скромных средств. А он имел славу увлекательного рассказчика: он любил рассказывать свои похождения — и приключения этих пождений не нуждались ни в какой голосовой «игральной» передаче, они сами отвечали за себя. Так оно и было на суде, когда Савинков в Москве творил последний суд над собой.

...

Этого вы не знаете, Борис Викторович. Я вас видел 7 мая, а этот день как раз совпадает с заключительным словом трагедии, вашим последним днем жизни на земле; для каждого она имеет свой цвет, для вас она — цвет крови. Я вас видел в белом — такая есть ваша вологодская карточка, вы на ней сняты с вашим отцом, это было еще в «кануны». И вот опять в белом. Так оно и должно быть: вы исполнили все. Силы небесные, помогавшие вам, оставили вас — но они и не могли не оставить вас. Вы в них больше не нуждаетесь. Своею казнью вы достойно завершили свое дело — и вот вы в белом.

Трижды мне памятны наши встречи, и никогда вы не были таким, как видел вас в вашу последнюю минуту. Только в очень раннем детстве вы были таким. Ни в нашу первую встречу в Вологде, когда ваша воля, еще не выразившаяся, выблескивала сквозь камень вашего лица, ни во вторую — петербургскую, перед вашей поездкой в Севастополь, решавшей, но не решившей вашу судьбу, когда камень прорезывался не насмешкой, а гневом и беспощадностью, и помните, это черное зловещее пятно на стенке белой бутылки; и не в Париже в последнюю встречу, совсем незадолго до вашего рокового конца, когда мы сидели в нашем пустынном бистро с музыкой, и мне показалось, что у вас дрожат руки от охватившей вас мысли — я ничего не знал, что вы едете на свой суд,

я только чувствовал, что в вашей судьбе настало и идет решающее.

И теперь, когда вы смотрели в белом покорно и кротко — необычно, невероятно! — вспоминая вас прежним, я понял все ваше: я узнал вас.

И нигде, только в Москве, вы должны были встретить вашу смерть — вы были ее вождем на русской земле, ее желтые фосфорические львиные глаза и ее жесткий рот вы так хорошо знали — и она, всегда послушная и верная вам, бросилась на вас: вы были тот, кто ее вызвал на указанный вам срок, срок кончился, — вы ее последняя жертва. Так замкнулся круг. И не алая, белая одежда на вас — та самая «майская».

СУДЬБА БЕЗ СУДЬБЫ (Заключение)

Судьба человека неизменна.

И эта судьбинная непреложность смутно чувствуется каждым: «каким зародился, таким и помрешь». Но ни одна живая душа не может принять неизбежность, неумолимость — постоянство начертанной ей судьбы. Живой человек примет свою судьбу, но... «без судьбы» — силы надчеловеческой. «Не судьба мною играет, а я своей волей разыгрываю мою судьбу!» — так говорит и по-другому не может сказать живой человек. Но проходят какие-то сроки жизни, и тебе послушная судьба даст себя знать — разбитый и уничтоженный, он это почувствует — она не смотрит на твое «хочу» или «не хочу», и тогда перед неизбежным только и скажется покорное: «отдаюсь в руки судьбы».

...

Судьба человека неизбежна.

Но кто это не убежден, что он может по-своему изменить судьбу другого человека? И это убеждение равно живо во мне, как моя бунтующая воля перед непробиваемой стеной — лично мне отмеренного круга.

Перед своей судьбой, надо сказать себе правду, я бессилен, но в судьбе другого я что-то значу. Откуда взялась такая наперекорная мысль? Я думаю, что у каждого из нас живет в душе обольщающая надежда, будто, изменив судьбу другого, он что-то поправит в своей непоправимой, неизбежной. Ведь довольных своей судьбой — таких в природе нет и нельзя даже представить себе; довольным можно чувствовать себя только на лавке в мертвецкой: «ничего мне не надо и не хочется, мне все равно».

* * *

Все войны одинаковы. Как и революции. Но бывают исторические, как войны, так и революции. Начало их за «освобождение» во имя «блага человечества», а продолжают, как спорт — кто кого переплюнет, а конец — сам черт шею свернет и ногу сломит. И это нисколько не меняет дела, остается «во имя», и тут «я» ни при чем, а именно «другой» — другие — «блага человечества». А поздоро- вилось ли кому хоть когда-нибудь от этого «блага»? Среди цветов и зорь, под пролив- ным небом звезд — человек страждет.

И как прожить человеку без мечты о какой-то человеческой, своевольной, не та- ковской жизни, на чем отвести душу в свой горький век на трудной, а зачарованной земле? И начинается. Без всякого разно- образия, по преданию... «от печки». И ни- какие уроки истории ничему не на- учают.

Среди книг, казалось бы, самые заман- чивые, а в действительности самые скуч- ные: повести о войне, о революции да еще рассказы о охоте.

* * *

«Все для человека!» — так начинается революция: «для человека». И начинает свою железную работу, ломая и втискивая по-своему живую человеческую жизнь и без всякого глаза на человека. Этот человек, для которого человека — «всё», всегда только безличный материал для безнадеж- ных опытов устроить по-другому челове- чскую судьбу.

Судьба человека неизменна.

И никакие перелицовки в жизни другого человека — других — человечества — в вашей личной судьбе ничего не изменят. Что может поправить — какая револю- ция — в вашей незадачливой жизни? Или в моей бездарности? Что может раз- рушить или извести *легкий*, этот самый жестокий суд человека над человеком? Ведь в мире не столько дураков, как недо- скоков, на которых рука не подымается и с которых спрашивать нечего, и ни о какой каше («кашу варить») не может быть и речи.

* * *

Какая в мире пустыня и безнадеж- ность. И обреченность.

(Я птичий породы, всегда покою и слышу это особенно отчетливо у Чайковского: в мазурке в «Онегине» и у Германна в «Пи- ковой Даме»: «ты видишь, я живу — страдаю... умереть».)

Но чуть только повеет весть о какой-то

надвигающейся в мире грозе, и вдруг станет весело.

«Падаль почуяли!»

— Нет, зачем падаль? Ну, вот я по своей смертельной зябкости, ведь я же — за самые нерушимые китайские стены: никогда чтобы не выйти из своей комнаты, сидеть перед окном у своего стола и чтобы обяза- тельно...

«Чай пить?»

— Да, хотя бы и чай пить — и чтобы оставалось все так, как есть, плохо ли, хорошо ли. Только бы неизменно и не- рушимо. А по душевной моей недотрогости: ведь мне больно от мышинного писка, не только там от человеческих... Так почему же мне-то вдруг становится необыкновенно ве- село, когда там, за окном, — я чувю — надвигается гроза.

— — ?!

Такая теснота — колючка или это, вот, — что я понимаю, и в этом моя какая-то вера: вот надвигается в мире, идет и наступит, наконец, подымет и раз- веет — раззвучит! Есть непробиваемая человеческая упрь, и все-таки, не-ет! и на тебя придет сила, и тогда...

— Нет, и еще раз говорю, нет. Ваша любовь никогда не найдет завершения: «насильно мил не будешь». А меня, что может бескрылого окрылить, что раскроет моим кротинным глазам орлиные дали и на высотах моя слабая голова не закру- жится? А гроза пройдет стороной и для меня, и для вас.

* * *

Во имя блага и спасения челове- чества совершались и совершаются пре- ступления против «человека». И началось это от всемирного потопа до Голгофы и от Голгофы продолжают до наших дней: казнь огнем, водой и воздухом — мимо «человека».

«Судьбу конем не объедешь». Отмерен путь и заказана дорога. Ищи-свищи! Никакие войны и революции ничего не по- правят. И пока не решен вопрос о судьбе человека, все остается по-прежнему: неволя, рабство или бессрочная каторга. В тыся- чный раз начиная войну, в тысячный раз революцию, а я буду в тысячный раз терпеливо ждать, глубоко сознавая, что все ерунда.

* * *

Есть три ответа — три решения о судьбе человека: как сделать эту судьбу — «без судьбы» или как освободить человека от навязанной ему судьбы. Ответы русские: Достоевский (1821—1881), Кондратий Се-

ливанов (1728—1832) и В. В. Розанов (1856—1919).

Всяк выбирай, что кому по душе, при-неволивать охотников не найдется.

История человечества представляется Достоевскому (Кириллов, *Бесы*) «от гориллы до человека и от человека до убийства Бога». Убив в себе «страх и боль», люди станут, как боги. И тогда в руках людей очутится их судьба: и уж всякие войны и революции за освобождение человечества или ради блага человечества покажутся самовольному богу-человеку игрушками, в которые игрушки всерьез играло детское человечество с именем Бога на устах. «Убить боль и страх» — шутка сказать, а попробуй. И есть только один верный, правильный способ: самоубийство. Самоубийством и кончает Кириллов. Своим решением он говорит *туда* — тому или тем, кто заварил и эту всемирную кашу («скверный анекдот», «дьяволов водевиль»): «Я сам свою судьбу, я — судьба без никаких и в вашем позволении — сроках не нуждаюсь».

Другой ответ: как освободить человечество от власти судьбы, — предлагает Селиванов («Страды» — автобиография). Попытка человека определить своей волей судьбу человеческой жизни — создать на земле до небес башню человека, не удалась, да и беды наделала — сколько маеты для переводчиков! Конечно, до всякой стройки надо было оградиться какой-то дымовой завесой от ревнивых, завистливых глаз демиургов.

Кондратий Селиванов, маг с силою халдейских звездочетов, за свою долгую жизнь он пустил по русской земле тысячи «кораблей» (название общин), он указывает своим ученикам, уверовавшим в него, раз-

рушить «лепоту» Божьего мира — цветы и зори, и проливное небо звезд — закон жизни, положенный нам, рабам-людям, который закон держит в руках нашу судьбу. Кондратий Селиванов, сам имевший на себе три печати (трижды оскопившийся — «без всякого остатка»), предлагает людям всемирное оскопление — звери и птицы пускай себе топчутся. И уж, само собой, после такой операции место Вседержителя Творца опрастывается — делать Ему больше нечего: человек не плодится и не множится, а главное, и не нуждается, и не надо никаких соловьев, и ни майских, ни осенних — при перелете птиц — искушений; у оскопленного человека свой независимый богатый мир: дар пророчества и дар восторга.

«Убить боль и страх» или просто сказать: застрелиться или повеситься; тоже и «оскопиться» — не очень-то все это привлекательно. А нет ли чего-нибудь не то чтобы попроще, пусть даже похлопотнее будет, но чтобы какое-то удовольствие, обезвредить ядовитую и бесплодную мечту человека о «благое человечества» и окончательно разделаться с навязанной человеку судьбой? Есть такое — в ответе В. В. Розанова (*Апокалиптическая секта*):

«Зачем миру существовать, зачем жить людям, в грехе, в слабости, еще в рождениях, бесконечных рождениях... для голода, для нужды, пустых забот и страданий: собрались бы они лучше все в один мировой «корабль» и, не дожидаясь, пока земля столкнется с планетой или сгорит в солнце — лучше бы натанцевавшись («радение»), надлюбовавшись, нацеловавшись — скушали бы все сладко друг друга и перешли прямо в Вечную Жизнь, Вечное Сновидение и Видения».